

Василий Иванович Немирович-Данченко

В Маньчжурии

Немирович-Данченко Василий Иванович — известный писатель, сын малоросса и армянки. Родился в 1848 г.; детство провел в походной обстановке в Дагестане и Грузии; учился в Александровском кадетском корпусе в Москве. В конце 1860-х и начале 1870-х годов жил на побережье Белого моря и Ледовитого океана, которое описал в ряде талантливых очерков, появившихся в «Отечественных Записках» и «Вестнике Европы» и вышедших затем отдельными изданиями («За Северным полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и лапландцы», «На просторе»). Из них особое внимание обратили на себя «Соловки», как заманчивое, крайне идеализированное изображение своеобразной религиозно-промышленной общины. Позже Немирович-Данченко, ведя жизнь туриста, издал целый ряд путевых очерков, посвященных как отдельным местностям России («Даль» — поездка по югу, «В гостях» — поездка по Кавказу, «Крестьянское царство» — описание своеобразного быта Валаама, «Кама и Урал»), так и иностранным государствам («По Германии и Голландии», «Очерки Испании» и др.). Во всех этих очерках он является увлекательным рассказ-



чиком, дающим блестящие описания природы и яркие характеристики нравов. Всего более способствовали известности Немировича-Данченко его хотя и не всегда точные, но колоритные корреспонденции, которые он посылал в «Новое Время» с театра войны 1877 — 78 годов (отд. изд. в переработанном виде, с восстановлением выброшенных военной цензурой мест, под заглавием «Год войны»). Очень читались

также его часто смелообличительные корреспонденции из Маньчжурии в японскую войну 1904 — 1905 годов, печат. в «Русском Слове». Немирович-Данченко принимал личное участие в делах на Шипке и под Плевной, в зимнем переходе через Балканы и получил солдатский Георгиевский крест. Военные впечатления турецкой кампании дали Немировичу-Данченко материал для биографии Скобелева и для романов: «Гроза» (1880), «Плевна и Шипка» (1881), «Вперед» (1883). Эти романы, как и позднейшие романы и очерки: «Цари биржи» (1886), «Кулисы» (1886), «Монах» (1889), «Семья богатырей» (1890), «Под звон колоколов» (1896), «Волчья съть» (1897), «Братские могилы» (1907), «Бодрые, смелые, сильные. Из летописей освободительного движения» (1907), «Вечная память! Из летописей освободительного движения» (1907) и др. — отличаются интересной фабулой, блеском изложения, но пылкое изображение иногда приводит автора к рискованным эффектам и недостаточному правдоподобию. Гораздо выдержаннее в художественном отношении мелкие рассказы Немировича-Данченко из народного и военного быта, вышедшие отдельными сборниками: «Незаметные герои» (1889), «Святочные рассказы» (1890) и др.; они правдивы и задушевные. Его эффектные по фактуре стихотворения изданы отдельно в Санкт-Петербурге (1882 и 1902). Многие произведения Немировича-Данченко переведены на разные европейские языки. «Избранные стихотворения» Немировича-Данченко изданы московским комитетом грамотности (1895) для народного чтения. В 1911 г. товариществом «Просвещение» предпринято издание сочинений Немировича-Данченко (вышло 16 т.). Часть его сочинений дана в виде приложения к журналу «Природы и Люди».

Василий Иванович многие годы путешествовал. В годы русско-турецкой, русско-японской и 1-й мировой войн работал военным корреспондентом. Награжден Георгиевским крестом за личное участие в боях под Плевной. Эмигрировал в 1921 году. Умер в Чехословакии.

Содержание

Проводы на войну	0007
Барабинская пустыня	0012
Степь Гоби	0015
На пороге к Китаю	0018
Кумирня	0021
На платформе пляска	0023
Сестра милосердия	0026
Спасение врага	0032
Японка — сестра милосердия	0037
Студенты на войне	0039
На перевязочных пунктах	0041
С голоду	0052
«Хлебца бы!»	0058
Строгий начальник	0062
Человек человеку брат	0066
Жара	0069
Ливень	0072
На страх богам	0077
Жизнь и смерть	0079

**Василий Иванович
Немирович-Данченко
В Маньчжурии**

**(Картинки и сценки из войны
с Японией)**

Проводы на войну

Ещё до рубежа сел к нам в вагон молодой артиллерийский офицер, догнавший свой отряд. Глядя в эти наивные, почти ещё детские, ласковые и доверчивые глаза, у меня невольно в душе зашевелился большой вопрос: вернёшься ли ты домой к тем, кто тебя ждёт, любит и благословляет издали?..

Офицер на этот раз попался словоохотливый, радостный. Его всё тешило, всё ему пока улыбалось, и он спешил поделиться с нами своими впечатлениями... В эту пору жизнерадостной молодости душа всему открыта...

— Ах, какие у меня солдаты, какие солдаты!.. Вы не верьте, когда о солдате говорят дурно. Солдата узнать надо.

— Достучаться ему в сердце?

— Вот, вот... Именно...

— А как вас встречал народ в городах, где вы останавливались?

У него вспыхнули глаза — лучисто, благодарно.

— Нет, это ведь что ж! Никакими словами не расскажешь. Как это передать? В Вышнем

Волочке — базар, народу до верху, площадь точно кипит. Пришла наша батарея. Обступили. Суют солдатам, что каждый может. Не брать нельзя, — обижаются. «Ты Христов теперь, — ты должен: это мы Богу подаём!» И вдруг выходит старый боцман, — ещё в Севастополе дрался. Оказывается, весь базар обошёл: «Это, — говорит, — вам, товарищи, от народа!» — целые охапки баранок (поднять силы нет) и в дорогу — жестяные чайники, стаканы, котелки, ковши и всякую посуду... И каждого солдата благословляет... А потом подошёл к нам, к офицерам: «А вам от нашей площади — вот, не погнушайтесь!» — и подаёт десяток апельсинов. Расцеловались мы с ним... Он меня в сторонку отвёл надеть маленький образок. «Меня в Севастополе на Малаховом сохранила, и тебя вызовет Заступница».

Офицер-рассказчик отвернулся. Видимое дело, не хотел юноша перед нами выдать своего волнения. Мы, разумеется, как будто ничего не замечаем. Заговорил опять, а у самого глаза влажные.

— Около Рузаевки есть монастырь Парас-

кевы, в восьми верстах. В Рузаевке наша батарея дневала; проезжали лошадей, отдыхали. Командир поехал в обитель к обедне. Ему настоятельница на дорогу для солдат дала восемь пудов баранок, которые пекли инокини, всяких своих припасов и сто рублей денег. Окончив поездку лошадей, отправились и мы посетить монастырь. Нас она приняла как мать. Расспросила каждого о семье, накормила, напоила. И глаза у них, у монахинь, добрые-добрые. Лица жёлтые, а во взгляде столько души! Стали мы прощаться: настоятельница надела на каждого по образку и даёт нам по 10 руб. на офицера. Мы было стали отнекиваться. У нас-де есть средства. Мы не солдаты. И жалованье, да и свои у многих. А игуменья выпрямилась перед нами и строго: «Берите, дети, не смейте отказываться. В эту горькую пору Господнего испытания мы обязаны вам помочь». Поневоле взяли.

Другой воинский поезд остановился у большого села Медведовского. Навстречу ему вышел священник с причтём, отслужил молебен, а потом крестьяне объявили, чтобы солдатам пицци «казённой» не варить. Они сами

угостят их в эту днёвку. И, действительно, ничего не пожалели, что только смогли. Водки поднесли, с разрешения офицеров, по стаканчику. И всё время просили артиллеристов: «Будете там, у „японки“, — встретите наших, расскажите, как мы вас встретили. Помним-де их»... Старухи плакали, навязали солдатам полотенец...

— Как народ к войне относится?

— Говорит: Господь бедой посетил. Все — как на тяжёлое испытание!

Я помню 1876 и 77 годы во время последней войны с турками за освобождение славян. Настроение было совсем иное. Теперь никому война нелюба и нежелательна. Мы идём туда поневоле. Монах в Пензе объяснил солдатам: «Великое послушание на вас за грехи всей России. С чистым сердцем надо идти на тяжкую ка?ру Господню. За вашу муку Он и нас помилует».

Что-то надвинулось страшное, неожиданное.

— Голубчики... — говорила солдатам старуха в Сызрани. — У меня ушёл туда Андрюша. Внушек... Единственный... Господа офицеры, отпустите ко мне солдатиков... двух. Я бедная,

а двух прокормить сегодня могу... Такие же они как и мой внучек...

Ей объяснили, что солдат из казённых котлов кормят хорошо, и отпустить их к ней никак нельзя. Она через час вернулась опять, просит, кланяется. Выбрала двух помоложе:

— Так чтобы по двадцать второму годку было... Как и моему Андрюше.

И снабдила их бельём, подушками и каждому вручила по тридцати копеек.

— Как вас звать?

Те сказали.

— Теперь я поминать вас стану: Андрея, Петра и Василя... А по воскресеньям буду за ваше здоровье частички вынимать...

Барабинская пустыня

Простор, неподвижность, молчание. Смотришь в окна вагона, и такое уныние охватывает, что не рад и яркому солнцу на безоблачном небе, и девственным снегам, — сверкающим, чистым. Эта неоглядная даль мертва, так мертва, что единственно живое на ней — наш поезд, точно врывающийся в сплошное царство торжествующей смерти. И вчера были те же пустыри, и сегодня они, и завтра будет то же. Кое-где чахлая-чахлая поросль. Не леса? не рощи, а поросль. Стоит что-то жалкое, плохо обветвившееся. Силы нет подняться в высоту, к земле припало и треплется на ней, — оскуделое, измученное.

Вон точно серебряные блюда кинуты на печальную гладь, — это солончаковые озёра: ни красы в них, ни радости.

Да тут есть ли человек? Подымается ли откуда-нибудь дымок затерявшегося на безлюдье жилья?.. Нет, — всё ясно, прозрачно, бело, и молчит пустыня, молчит до ужаса, до того, что кровь стынет в жилах, и невольно сам начинаешь кричать, петь, подавать голос: я де

жив ещё, не умер. Со мною ничего ты не сделаешь...

На что она похожа, эта Бараба, — это дно проклятого Богом океана? Громадное, на тысячи вёрст, окоченевшее лицо трупа с чудовищными застывшими белыми глазами. Ничего не прочтёшь на ней, — книга ужаса, раскрытая на пустой странице.

Она не ожила даже, когда заходящее солнце обдало всю её розовым светом. На ледниках он кажется просачивающею их тёплой кровью. Тут он только скользил по мёртвому лицу всё бледнее и бледнее, пока не угас совсем, и пустыня закуталась в сизый сумрак.

Ночью под луной — та же гладь, те же солончаковые щиты, забытые на ней былыми богатырями, те же холодные, обескрыливающие воображение, дали. Я приподнял как-то занавеску, — то же царство смерти, нигде и ни в чём не изменившееся...

Мне почудилось: прошли миллионы лет, солнце давно потухло, и обледеневшая мёртвая земля, беззвучная, бездыханная, страшным ледяным комом несётся в загадочное пространство... На ней всё остановилось — ни

ветра, потому что воздух тоже отвердел, ни огня, — вулканы давно потухли и стоят как надгробные памятники над угасшей жизнью своей планеты...

— Всё ещё Бараба? — спрашиваю утром.

— Ей долго конца не будет. — А земля чудесная.

— Как так?

— Чистейший чернозём, только ничего на нём не родится.

Все засмеялись.

— Хуже Сахары, — там хоть оазисы есть... А на эту сибирскую Сахару мы давно рукой махнули.

— Сюда пробовали направлять переселенческие партии, — рассказывает молодой доктор. — Я был с такими. Приедет зимой, сядет, а летом прочь бежать. Больше здесь уж ничего не селят. Довольно. Были такие, что сходили с ума на Барабе.

Этакий круглый ноль поставила природа между Европой и далёким Востоком.

Степь Гоби

Что за безотрадный край! Когда на школьной скамье я заучивал ничего не говорящие воображению названия «Гоби или Шамо» и старался представить себе эти степи, — они являлись мне всё-таки не столь ужасными, как эти начинающиеся в Даурии и пропадающие в Монголии бесплодные, плоские солончаковые пространства.

За красивую Ингодою скоро начинаются они, пустынные, с режущими глаза прослоями соляных озёр, с жалкою прошлогодней порослью, которую то и дело срывает ветер и несёт перед собою.

Целые тучи перекаати-поле мчатся рядом с поездом, то обгоняя его, то застревая в рытвинах... Какие-то сорванные с сожжённых ещё летом стеблей сухие звёзды, сухие клубы перепутавшихся былинков...

Бешено по всей этой неогляди носится сумасшедший ветер, — воет позади, ревёт что-то злобное и дикое нашему паровозу, точно хочет перекричать свистки одуревшего машиниста, клубами взрывает соль и кутает ею

испуганный поезд, срывает с выпуклин песок и точно бичами подгоняет его сплошные, сыпучие и зыбучие стены...

Ни лесинки кругом.

Изредка из-за этих песчано-соляных занавесей, колеблющихся впереди и позади, выступают медлительные важные верблюды... Истоиво, вытягивая свои длинные шеи, они провожают наш поезд и теряются где-то в глубине этой проклятой Богом пустыни.

Вот юрта; никто оттуда даже и не вышел взглянуть на нас. Не вымерли ли и там люди? Или блеск и вихрь этой пустыни пугают их?

Летом здесь всё жёлто внизу и тёмно-синевверху. Тут испуганное воображение должно было видеть не светлых ангелов, а именно злобных драконов с их завитыми хвостами и растопыренными когтями цепких, ужасных лап... змеиные языки из огнедышащих пастей... горящие ненасытной злобою глаза... Дракон, должно быть, родился здесь и через Монголию перешёл в Китай.

Трое суток мы ехали по этому страшному краю. Выходя на остановках, мы падали под ветром. Точно чьи-то громадные холодные

ладони упирались нам в грудь и опрокидывали навзничь. И всё кругом стонало, выло, плакало, грозило.

Гоби или Шамо незаметно переходит в Северную Маньчжурию, такую же безотрадную... Среди сплошной пустыни затерялась и станция «Маньчжурия».

На пороге к Китаю

Что за страна пошла! Среди глади, — точно поднятые руками человеческими, — горы пирамидами. Сразу вспухнет такая, — ни холмов, ни отрогов. В одиночку, а дальше другая, третья. От Гоби не осталось ничего, — тут уже кое-где видны перелески. Стаи чибисов подымаются от шума нашего поезда...

Всё-таки сурова и неприглядна Северная Маньчжурия. Говорят, она страшно богата металлами всякого рода; но сурово смотрит она на пришельца, ничем не радуя его взгляда. Весною слетится сюда видимо-невидимо фазанов, и к каждому поезду китайцы выносят их сотни уже изжаренными. Цена этой птицы от гривенника до двадцати копеек.

Солнце утопало в нежном море розового тумана. Чистое, голубое небо бледнело на востоке. Робко-робко проступали звёзды... Когда на западе осталась только одна огнистая полоса, — мир точно раздвинулся в ширь и даль...

Теперь уж недалеко от нас лежал громадный Китай, эта многотысячелетняя загадка

человечества, молчаливый, вечно думающий свою огромную стихийную думу, непонятную для нас, при всей слабости — неуязвимый, при всей силе — ограбленный, оскорблённый, избитый и забитый, — и всё-таки грозный своей тайной... Сердце и мысль стремились узнать эту раз навсегда замкнувшуюся семью из нескольких сот миллионов людей, как замкнулись в нём меньшие ячейки — отдельные семьи... Глаза старались что-то рассмотреть на юге, откуда передо мною подымался страшный мираж народа, который, — проснись он, — мог бы уничтожить и поглотить добрую половину человечества...

Кругом кипят страсти, войны потрясают землю, поднимаются вожди, рождаются гении, создаются гигантские предприятия, тысячи железных громад бороздят бурные воды, другие тысячи ищут новых земель, новых пространств для грабежа, для наживы; наука посылает туда своих солдат и мучеников, — а он, этот старец-народ, лежит весь в своей неясной грёзе, и в объятиях гигантского жёлтого дракона спит фантазия-красавица, посланная земле святым и чистым небом, что-

бы люди на ней не замечали её грязи, ужаса, своей страшной действительности, позора в прошлом, страдания в настоящем и могилы в будущем... Спит народ-философ... Да полно, спит ли!..

Кумирня

Маленькая кумирня...

Перед нею несколько деревьев. Они плохо принимаются на этой неблагодарной почве Северной Маньчжурии. Четверо ворот. На воротах неизбежные каменные собаки оскаливают громадные пасти, а большие круглые глаза точно хотят выскочить вам навстречу. Во всю стену громадный, хорошо сохранившийся дракон извивается упругими кольцами и растопыривает грозные лапы.

Ворота отворены, но позади двор изнутри загородила ещё стенка и тоже с драконом. Китайцы строятся так, чтобы живой дракон никак не мог попасть к ним. Влетит в ворота и ударится о стену...

Эта кумирня хранит трогательные воспоминания. Её ламы подобрали русских раненых, сами перенесли их сюда и тщательно ухаживали за ними. Двое умерло, — их могила в углу. Один выжил, и теперь мне рассказал эту трогательную быль.

— Мать так не может заботиться! Умирать буду, — не забыть мне этих монахов. Выходи-

ли; лошадь дали, чтобы я к своим мог добраться. Тихие люди, Бога знают и любят Его... По заповедям живут. Я в их кумирне как-то молюсь, а потом и спрашиваю: не обидно ли им, потому что я чужой веры. Ну, они мне на это: веры разные, а Господин неба один. Всё равно, что языки, — одно и то же они называют разное, каждый по-своему, а роза всё-таки остаётся розой.

После этого рассказа громадный дракон и адские собаки показались мне вовсе не такими страшными. И внутренней стеной огорожившись от чудовища, монахи не загородили сердце от людской беды и чужого горя.

На платформе пляска

Главнейший город Северной Маньчжурии Цицикар, в двадцати пяти верстах от линии железной дороги. Поезд стоит здесь три часа. От Танхоя на Байкале до Цицикара, по моему исчислению, мы на стоянки потеряли двое суток.

Сегодня казаки весело празднуют второй день Пасхи. У офицеров в круговую ходить серебряная чаша.

На платформе пляска.

Китайцы окружили казаков громадною толпою. Весело звучит гармоника, и бородатые, дюжие, солидные станичники отплясывают в этом круге особый свой сибирский трепак.

Рябой казак, кинувшись на землю, лицом к ней, на носках ног и локтях изображает в такт музыки рыбку: юлит вправо, влево, и вскакивает под восторженный гул зрителей.

Другой, сосредоточенно сдвинув брови и не отрывая глаз от своих ног, выкидывает что-то неопишное. То они у него делают какие-то рисунки, на пятках, плашмя, боком, на

носках, заплетаются и расплетаются ходуном, описывают кривые линии, углы, а рыжая громадная борода его треплется во все стороны, и заломленная на затылок папаха ездит с бекреня на бекрень...

Сменил казака бурят. Этот внёс в пляску что-то медлительное, тяжёлое. Заговорил я с ним, — не понимает по-русски. Другой бурят стремительно на пятках прошёлся по кругу и ахнул так, что толпа вздрогнула, и остановился вкопанный.

А гармоника заливалась всё задорнее, так что и китаец-манза не выдержал, ворвался в круг и давай что-то отрабатывать носками и руками. Казаки смотрели на него и одобряли.

— Ишь как, молодец!.. Ну-ка ещё, ходя! [1]

Одобрённый манза заприседал к пущему восторгу своих чёрно-жёлтых соотечественников.

— Откуда он?

— Из Чифу! Рабочий...

Жизнерадостный и добродушный народ. Добродушный, разумеется, до поры до времени. Когда его страсти возбуждены, он делается совсем иным. Сам не ценит своей жизни,

да и чужую ни во что не ставит.

Сестра милосердия

Святые подвижницы! В какой нравственной скрасоте, назло годам и расстоянию, вы вспоминаетесь мне теперь, когда я смотрю на новое поколение таких же, какими были вы, девушек и женщин, идущих скромно на кровавую ниву близкого будущего... В той боевой страде, которую пережили мы двадцать семь лет назад, сколько вас ушло в далёкие могилы, в братские могилы, давным-давно позабытые и поросшие бурьяном чужбины. Ни ваших имён, ни ваших лиц не сохранилось ни у кого в памяти. Пришли на подвиг, свершили его и легли рядом с солдатом, таким же забытым, безымянным...

По пути на войну я свалился в Иркутске больной... Лежал один в вертепе, потому что там все гостиницы обратились в такие. Жар подымался до 39... Вечером как-то подошёл к 40. Я был в бреду, а рядом слышалось дикое оранье пьяных... Кажется, готов бежать на край света. И вдруг в самую тяжёлую минуту, когда голова у меня горела, и Бог знает что мерещилось кругом, — у меня в комнате ока-

зался призраком... Высокая, тонкая женщина со строгими глазами и доброю, мягкой улыбкой.

— Вы здесь один... больной... Мне сказали... Я пришла посидеть с вами.

Я различил у неё на руке красный крест...

Умело она положила мне что-то освежающее, влажное на больную голову, напоила чем-то...

Мне было так отрадно слышать ласковый, нежный голос... Она заговорила со мною о близких и дорогих людях, которых я покинул далеко-далеко... Я чувствовал: какие-то тихие, кроткие волны подхватывали меня и уносили в сказочный край пережитых былей. Я невольно улыбался им, — этим воскресшим мертвецам, — и мне было страшно одного, чтобы добрая волшебница, вызвавшая их из дорогих могил, не ушла, не оставила меня.

Я заснул, чувствуя у себя на руке её руку, — руку сестры, и с этой ночи началось моё выздоровление.

— Теперь вам лучше?.. Да? Я уже не нужна буду вам больше... До свидания. Встретимся там, в Порт-Артуре.

И когда она ушла, мне казалось, светлый

след остался около меня. Такой, какой должен оставить ангел, посланный небом.

Настоящая сестра!

Она идёт непрошенная и незванная туда, где людям тяжело и жутко. Её мир — мир страданий и смерти!

Да будет благословен её путь в пустыне жизни.

До свидания, сестра! Если эти строки попадутся тебе, прими издали мой братский привет!..

Сколько раз я писал о наших сёстрах милосердия, а всё мало, чтобы дать понятие о самоотверженных, великодушных женщинах, обрѣкших себя на великое мученическое служение родине.

С радостью убедился, что за время, протѣкшее с турецкой войны, они поднялись ещё выше, их духовная мощь достигла невиданной красоты. Откуда они берут страшную силу воли, выносливость, отвагу, которым могли бы позавидовать солдаты?

Недавно осматривал санитарный поезд Великой Княжны Татьяны Николаевны, где девушки лучших семей, не успев отдохнуть от

невероятной устали, сами мыли вагоны для раненых и больных.

Я видел их на боевых позициях, в переполненных госпиталях, на станциях, где наскоро устроены приюты для раненых. Вместе с нашей студенческой молодёжью здесь это истинные герои и героини не из военных.

Другой наш герой — солдат, разумеется, в захолустных далёких деревнях, в степной сибирской глуши не забудет своей сестры. Надо видеть здесь, каким безграничным доверием пользуется она. Кротки, приветливы, трогательны их лица, ласков голос у постели страдающего солдата. С какою любовью, умилением встречают их наши страстотерпцы, как терпеливо, нежно касается сестра их ран! Она не верит безнадёжности положения, и часто этому обречённые смерти обязаны своим спасением. Такого бдительного, безотходного, материнского ухода нельзя себе представить. Заболеет сестра; кое-как, — не выздоровеет, а только подымится на ноги, — и опять она у своих раненых. Она слишком жалеет ближнего, чтобы пожалеть себя.

Часто сестёр не хватает; они после долгих

утомительных дней должны, не отдохнув, проводить бессонные ночи у изголовья больных, требующих их постоянного присутствия, — и ни раздражения, ни жалобы, даже брови не сдвинутся, в лице ни упрёка, ни утомления, одна забота — не упустить подать помощь, отнять у беспощадной смерти ещё одну жертву.

Тут нет разницы общественных положений: все подруги, все на одной страде. Мещанка работает как и графиня. Завтра они разойдутся по разным дорогам, — сегодня это, действительно, сёстры одного ордена. Одни подбирают раненых, следуя с последними за отступающей частью в виду неприятельской пехоты, другие работают под огнём шрапнелей. Святые, чудные женщины! В них вся радость, счастье, надежда России.

Самый несообщительный, замкнутый солдат делает ей свои предсмертные распоряжения, передаёт последнюю волю, убеждённый в святом её выполнении. Я видел девушек над гангренозными, запаха которых не могут переносить врачи. Они не отходили от заживо сгнивавших страдальцев до самой минуты

смерти. Голодные, они отдавали на моих глазах последнее, до единственного куска хлеба, проходящему мимо голодному солдату. Это не исключения, а зауряд.

Спасение врага

Тусклый рассвет. Точно свинцовый катит океан свои тяжёлые воды. Вспененными гребнями, они бьются над палубами затонувших пароходов, вскидываются у их мачт и труб.

— Посмотрите, посмотрите! Двое спасшихся.

— Где, где?

— Вон, видите трубу второго брандера?

Сверху от устья трубы вниз идут цепи. Прижавшись к трубе на одной цепи, Бог весть как, держатся двое. Сколько часов они там! Что они пережили за это долгое, мучительное время, цепляясь последними усилиями за уходящую жизнь. Один точно замер. Верно, руки ему прорезала эта цепь. Другой ещё подаёт знаки, машет чем-то. Взберётся на трубу, сядет и орёт что-то несуразное, должно быть, лишь бы его услышали. Ветер рвёт их прочь. Треплет, точно и ему хочется сбросить их и отдать океану его жертву. Душа болит за этих еще живых стремящихся к нам, подальше от чёрного царства смерти.

— Слава Богу, — шлюпка за ними!

Отважны, великодушны моряки. Как я их люблю в эту минуту.

Шлюпку швыряет буруном во все стороны, — то подымет на корму, то зароет носом, то вдруг опрокинет в образовавшуюся мгновенно между волнами бездну. То она исчезает совсем, и не видно её вовсе, то вскинет на белый гребень, и она вся обрисуетя на нём с бесстрашными людьми, с их тонкими вёслами, с молодым офицером у руля. Вот-вот шлюпку опрокинет, и вместо спасения других придётся спасаться самим.

Шлюпка всё ближе и ближе... Японские матросы заметили её. Один, должно быть, не верит, спрятался куда-то, другой — весь внимание, боится упустить мгновение, когда она будет тут, около.

Грозен зелёный вал. Выгнув в бешенстве шею и вскинув свой пенистый гребень, несётся он на гребцов. Бешеный удар — и шлюпка опять далеко. Но матросы не теряются. С удвоенной силой гребут они туда, где двое их братьев, окоченелые, в отчаянии зовут их к себе: «Скорее, скорее!»

Опять вертит лодку во все стороны, точно чья-то чудовищная, невидимая рука снизу играет ею, тешится, то подпустит к цели, то отбросит назад. Вот последний удар. Она как-то вдруг оказалась над палубою затонувшего брандера. Бьётся во все стороны, мечется. То её подкинет под то место, где дрожат два несчастных, то опять унесёт прочь. Вертит...

Матросы орут что-то с трубы, им отвечают. В такие минуты люди, на каких языках они бы ни говорили, понимают друг друга. Скорее, скорее! Один как-то вдруг скинулся. Должно быть, в порыве отчаяния бросился вниз со своей высоты, и шлюпку как раз в это время как открытую ладонь подставило ему. Я видел, как матросы его поймали налету, сняли с него что-то, завернули во что-то, — должно быть, сухое, тёплое, — и положили вниз. Слава Богу, один спасён!..

Другой в это время делал что-то совсем необыкновенное. То, держась руками за цепь и упираясь ногами в трубу, он спускался, то, когда внизу бешеная волна обдавала его своей пеной, он опять взбегал таким же способом к устью трубы.

Наша шлюпка долго боролась с кипенью прибоя и никак не могла подобраться к нему. Несколько раз её швыряло в трубу, относило прочь. Мы боялись сверху, как бы эти герои не вернулись, оставив ветру и морю их добычу. К счастью, мы о наших моряках думали хуже, чем они оказались на деле. Ещё несколько поворотов вправо, влево, вперёд, назад.

Но вот настало — как во всякую непогоду — минутное затишье. Вода кипела, пока вдали складывались новые грозные валы океана. Шлюпка быстро двинулась вперёд. Японец не выдержал ожидания. Как обезьяна он сполз по цепи, упираясь в неё ногами, соскочил в воду и вдруг, неведомо как, оказался на спине опрокинутого парохода, в стороне от своего затопленного брандера. По этому днищу он пронёсся каким-то странным гимнастическим бегом, высоко подымая колена и держа руки горизонтально. Поскользнулся, — сейчас его подхватит беспощадная стихия... упал — прямо на подставленное ему со шлюпки весло. Если бы вы могли себе представить, как он уцепился за него руками и ногами.

Ещё мгновение, и он был уже на шлюпке. Когда она отплывала к жизни, теплу, спасению, мы невольно крикнули сверху «ура!» этим самоотверженным людям.

Я должен оговориться.

Эти оба японца были не в счёт. Между своими они явились исключением. Остальные не желали жизни в плену. Доблестные солдаты, они не соглашались на сдачу. Несколько из них бросались с мачт в воду, когда подходили наши шлюпки.

Маленького японского матроса — кадета — подхватил громадный рыжебородый боцман как ребёнка на руки и, насколько он был способен на это, нежно уговаривал: «Не баловаться!» Но тот схватил свой галстук и давай его крутить жгутом, чтобы задушиться. Боцман крикнул товарищей, и те перерезали этот жгут. Тогда спасённый заплакал от отчаяния. Когда его, уже отогретого, сытого, выспавшегося спрашивали потом, он отвечал одно: «Смерть — честь, плен — позор. О мёртвом бы жалели и мой отец, и моя мать. Пленному мне уж нет дороги в отечество. Я его никогда-никогда не увижу!»

Японка — сестра милосердия

В партии прибывших в Одессу раненых матросов находилось несколько человек, пользовавшихся лечением в японском госпитале, в Чемульпо.

Все они рассказывают о редком уходе и внимании одной японки, по имени Тсушибаси, служившей у нашего корейского консула. Это молоденькая девушка из очень бедной японской семьи, кое-как объясняющаяся по-русски. Семья русского консула очень любила эту добродушную японку. В свою очередь, и она искренно привязалась к своим русским хозяевам. Наши матросы, находившиеся при охране, прозвали её почему-то «Машенькой».

И вот эта девушка, как только узнала о начавшихся военных действиях, не теряя ни одной минуты, отправилась в Чемульпо и добилась разрешения ухаживать за русскими ранеными.

В японском госпитале ею отчасти воспользовались как переводчицей. Больные русские матросы при посредстве этой японки высказывали свои нужды, которые немедленно же

удовлетворялись.

Увидав впервые в госпитале изуродованные лица наших моряков, переносивших ужасные муки, сердобольная девушка залилась горькими слезами.

— Надо было вам видеть, какую редкую любовь, какое сострадание и милосердие проявила эта «японочка» к русским раненым, — передавали матросы. — Она хлопотала и возилась у постели раненых день и ночь, не смыкая глаз. Она страдала не менее самих раненых и радовалась, когда замечала малейшее улучшение.

Матросы с благоговением вспоминают об этой японской «Машеньке», называя её родной сестрицей.

— Пошли ей, Господи, здоровья! — восклицают они.

Студенты на войне

Надо с величайшим уважением, признательностью и удивлением сказать о подвигах нашей университетской молодёжи, явившейся на эту кровавую ниву в составе «Красного Креста». Всё время войны, среди величайших ливней, она была настоящим товарищем солдата и вместе с сестрой милосердия надолго останется в его благодарной памяти.

Не зная отдыха, студенты наших университетов и медицинской академии не выходят из боевого огня; в цепи, во время сражений, перевязывают, подбирают, уносят раненых, не щадя себя. Истинными героями самоотвержения, великодушия, мужества, после битвы, не заботясь о продолжающемся неприятельском огне, они идут вперёд, спасая ещё дышащих. Сколько тысяч жизней они сохранили и сохраняют, и какую счастливой, уверенной бодростью дышать их юные лица в годину испытаний, подобную нынешней.

Мы можем гордиться такою благородной молодёжью. Их перевязочные пункты на бое-

вых позициях всегда осыпаются шрапнелями, гранатами, часто ружейным огнём. В этой обстановке их работа совершается так же правильно как в безопасных залах госпиталей. После таких дней они часто остаются голодными, — отдохнуть некогда, негде, надо везти раненых дальше, заботиться о них.

Надо видеть молодое поколение здесь, чтобы оценить его так, как оно сто́ит.

На перевязочных пунктах

Заброшенный каменный дом; к нему легко-раненные идут на ногах, тяжёлых — приносят на носилках.

Общая черта: офицер на носилках говорит много и возбуждённо и почти никогда не стонет и не жалуется, как бы скверно ему ни было; солдат или молчит сосредоточенно, упорно и строго, сожмёт губы и поморщится, часто закроет глаза и, видимо, одного хочет: не приставайте вы к нему, не тормозите, оставьте в покое, наедине с его скорбною думою.

В Вафангоу на перевязочном пункте студенты рук не складывают. Им перебраться словом некогда. Подходят к очередному солдату из запаса, — весь серый, и борода серая, и усы.

— Вон рядом больше моего мучится, к нему сначала.

— Он легко ранен...

Солдат улыбается.

— Да разве по лёгкости судить надо? У меня вон живот наскрозь, а я не кричу; а ему ногу в мягкое место, — он верещит, к нему и иди

сначала. А я ещё терпеть могу. Нужно так: кто меньше терпеть может, к тому первому.

Вон офицер фон Майер. Сначала думал, что у него тоже живот насквозь пробит. Лежит и пытливо смотрит на меня... Виден в глазах вопрос... Ко мне тихо:

— Скажите... от ран таких выздоравливают?.. — и голос у него дрогнул.

— Ещё бы! — стараюсь я улыбнуться. — Ещё бы! У меня был друг один, — безбожно вру, — у него хуже, чем у вас... А теперь женат, детей имеет.

— Ну, вот, вот...

И тоже радостно улыбается.

Потом оказалось: пуля прошла, не задев ничего важного.

В углу — раненый. Одна и та же пуля мякоть обеих ног прошла. Лицо барское, очки, а солдатская шинель. Говорит как человек образованный.

Мне шепчут:

— Слава Богу. Мы за него рады!

— Почему?

— Да ведь его как все любили! Великолепный товарищ был.

— Ну, так что же, чему же радоваться?

— Рана не очень серьёзная, а теперь ему всё вернут, пожалуй.

— Ничего не понимаю!

— Да ведь это наш милый Чоглоков. Разжалованный.

Вспомнил: мне о нём пограничники рассказывали как о лучшем офицере. И в полку он свято нёс своё горе. Никакого послабления себе не давал. Плечом к плечу с солдатом, и хотя ему не раз его бывшие товарищи хотели облегчить его кару, — он ни разу не принимал такой милости. Он искупал свой малый грех. Как человек честный и благородный, подвергаясь всем его последствиям, не отлынивал ни от чего. Избалованный, изнеженный, он нёс трудную солдатскую службу наравне с привыкшим к лишениям рядовым.

— Здравствуй, Чоглоков! — подходит к нему его друг.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие!

— Ну, теперь шабаш. Конец твоей муке.

Он весь сегодняшней бой был впереди. Дрался как лев, кидался туда, где опасности

было больше. Как он от тысячи смертей ушёл, Бог его ведает, потому что, сравнительно с тем, что он делал в этом сражении, его рана — выигрыш в двести тысяч. Солдаты по-своему объясняют:

— Конца искал, намучился барин!

А какое золотое сердце, — спросите у тех же солдат, которым он был старшим товарищем, когда золотые погоны носил. В каждом принимал участие.

— Он один врубился в японский эскадрон.

Когда его несли на поезд раненого, догнал генерал Самсонов и подал ему руку.

— Поздравляю вас...

Раненый приподнялся.

— От всей души радуюсь за вас. Я сделаю всё со своей стороны, чтобы устроить вашу участь.

Когда Чоглокова привезли в Ляоян, командующий маньчжурской армией, как он всегда это делал, посетил и его. Расспросил. Повесил ему на грудь солдатского Георгия.

— А теперь я буду сам хлопотать за вас у Государя.

Не успел я ещё оставить этот перевязоч-

ный пункт, как опять новый тип.

Слышу, доктор отчаянно спорит с раненым, перевязывая ему ногу.

— Нельзя, говорят тебе.

— Так что дозвольте, ваше высокоблагородие.

— Слышал ты или нет: у тебя пуля засела в ноге.

— А где же ей сидеть, коли она в ногу попала?

— Так как же я тебя пуцу назад в полк?

— Потому она сидит в говядине. Я смогу сидеть в седле.

Доктор отмахнулся и отошёл.

— Что это у него? — спрашиваю.

— Да помилуйте: у человека легко может быть гангрена, а назад, в строй, просится.

— У меня там и табачку моего пачка осталась! — тоскливо бурчит солдат.

Через пять минут — суматоха.

— Корней Захаров! Захаров!

— Где Захаров?

— Нет его, доктор. Вот сейчас здесь был, а теперь нет.

Захаров улучил минуту, когда доктор ото-

шёл к другим больным, и — давай Бог ноги. Потом встречаю доктора.

— Ну, что же, отыскали вы его?

— Нет. В строю... Свой доктор там за ним смотрит.

По всему полотну железной дороги, на насыпи точно птицы на застрёхе сидели любопытные. Молчание царило здесь, — лицо у каждого было обращено на юг, ухо ловило беспрестанный гул орудий. Точно он мог им рассказать, что там. Мы быстро добрались до перелеска... Тут в тени деревьев лежали на носилках раненые. Я всмотрелся, — вон верхом сестра Воронова. Около — врачи. Идёт перевязка вовсю. Подхожу к одной группе.

— Работать не дают спокойно! — жалуется врач.

— А что?

— Несмотря на наши флаги «Красного Креста», поминутно бьют шрапнелями. Хорошо, что у меня молодёжь такие славные ребята, не боятся, не уйдут. Спасибо вам, братцы...

— Ну, вот, чего бояться! — недовольно бурчит взъерошенный студент.

Сколько я их видел здесь, и какой это слав-

ный, благородный, не складывающий рук народ. Рядом с сестрою милосердия это лучшие друзья солдата. Они с ним на боевой страде, неразлучны — в огне, в голоде, в жажде, в смертельной устали... Ах, какая это чудесная, святая молодёжь! Издали шапки долой перед нею, идущею на честную тяжкую работу, на смерть, на муку, на неопишное страдание!

«Брат», «сестра» — зовут их наши мужики под серую шинелью, и с этими великими, от всей души сказанными именами навеки смыкают свои измученные очи.

Брат, сестра, да встретит тех, кто из вас уцелеет, далёкая родина так, как вы это заслуживаете! Да будет вам будущее светло, радостно и ясно! Да восторжествует всё то, ради чего чутко трепещут ваши молодые сердца, во что вы верите, к чему стремитесь и здесь, и дома!.. Будь проклято перо, бессильное рассказать о вас вашим отцам, матерям, близким — так, как вы этого стоите, чтобы они в горе, разлуке с вами, вместе со мною могли любоваться вами, — «людьми», в высшем значении этого слова, — на кровавой ниве!..

За перелеском с перевязочным пунктом —

поля, осыпаемые шрапнелями, и крутой обрыв гор, вдоль которого выстроились обозы и военные лазареты. В обозах тишина. Лошади мирно жуют гаолян и только передёргивают нервно всюю кожей, когда около взвизгнет осколок, или лопнет граната... В лазаретах военные врачи работают, не покладая рук. Мы идём мимо.

Чем дальше, тем носилок больше и больше... Между носилками и двуколками, медленно, сосредоточенно, точно обдумывая про себя что-то, идут одиночками раненые, которые ещё могут держаться на ногах. Других поддерживают на ходу товарищи. Обнимет их справа и слева и подскакивает на одной ноге. Другая висит в грубой, самодельной перевязке. Не думайте, чтобы тут были легко раненые. Останавливаю одного.

— Не помочь ли тебе?

— Благодарим покорно... — сурово. — Сам дойду.

— Куда ты ранен?..

Ещё суровее:

— Грудь наскрозь...

Другой еле ползёт, но от всякой поддержки

решительно отказывается.

— Куда тебя?

— Живот...

И, сделав несколько шагов, плашмя падает.

Одни идут и поддерживают здоровую раненую руку. А вот с обмотанной ногой один идёт, подсказывает. На плечах ружьё.

— Отдай ружьё.

— Никак не могу. Вещь казённая. Ответишь.

— Никому не ответишь. Ты раненый.

— Так что нельзя!..

И упорно как воробей подпрыгивает всё дальше и дальше.

Нас догнал генерал Генгросс... Я слышал, что он ранен, и никак не мог ожидать, что встречу его в седле.

— Здравствуйте.

— Вы ранены, генерал?

— Пустое. Только сейчас съездил перевязаться, тороплюсь назад.

У него голова и щека в марле. Пуля попала ему справа, около губ... Говорить ему трудно, а надо отдавать постоянно приказания, ко-

мандовать, диктовать донесения...

— Поехали бы вы отдохнуть.

— А кто же за меня?

Действительно, кто? У Генгросса — самая ответственная позиция.

— Нет, надо оставаться здесь. Посмотрите, у меня сколько раненых солдат осталось в строю. Другому приказываешь идти на перевязочный пункт, а он скроется в сторону и вдруг в свалке опять оказывается. Вы бы посмотрели: у меня пуля попала в капитана Добржанского, и он всё продолжал балагурить, подбадривать солдат. Выгнать я его не мог из строя, — и до сих пор там, а вокруг него под самым адским огнём солдаты хохочут. Он умеет их занять и отвлечь от сознания страшной опасности.

Два санитары ведут под руки солдата. У него пробита нога. По пути носилки. В них стонет тяжелораненый.

— Живот наскрозь.

— Чего же вы не несёте?

— Товарищей ждём. Вдвоём не взять.

— Вот что, братцы, я и сам как-нибудь, а вы уж его донесите. Ему нужнее...

И давай ковылять один, садясь поминутно отдыхать...

Были и смешные сцены: медленно подвигаются носилки. В них покрытый шинелью... Думаю, — опасный. Судя потому, что не шевелится, должно быть, очень плох. Не умер ли? Вдруг в это время стальной бич рассёк воздух, над головами вспыхнуло белое облачко, огонь и треск разрыва и визг рассыпавшейся шрапнели. Мой умирающий как вскочит из-под шинели с носилок и чуть не бегом вперёд.

— Куда ты, куда ты?

— Ну, вас! Один я скорее... С вами ещё убьёт, пожалуй.

— Куда он ранен? — спрашиваю.

— Да в плечо. Только, должно быть, лодырь. Как мы его брали, — так еле стоял, а теперь ишь, — на коне его не догнать! Гляди-погляди, как он в гору-то...

С голоду

Солдат ест хлеб; там, где это можно устроить, варится горячая пища. На каждого приходится по полфунта и более мяса. Часто и мы подходим к братскому котлу, так же открытому для каждого из нас, как и братская могила. Солдаты радушно протягивают свои деревянные ложки и раздвигаются, давая вам место.

Но там, где такого бивака нет, — дело плохо. Сегодня, например, захожу в лавку, — там остались консервы из ананасов и скверное, испорченное японское пиво. Спрашиваю: нет ли ветчины, хлеба, — чего-нибудь, что можно есть. Длинный торжествующий грек из-за стойки дудит одно: «Ананаси есть, пива есть, холози пива, бользи никово нету»... Отхожу разочарованный и вижу: голодный офицер с решимостью подходит к стойке и, скрипя зубами...

— Давай ананасы, чёрт тебя дери... Давай пива.

Торжествующий грек, с очаровательной улыбкой, протягивает шанхайскую жестянку

и узкогорлую бутылку.

— Миного ананази есть... Миного пива...

Всё остальное у него расхватали вчера.

Офицер зверем оглядывается кругом и поясняет:

— Сутки ничего во рту не было!

Жестянку вскрывают, оттуда выползает что-то жёлтое, сладкое, липкое, отвратительное. Грязно-бурый сок течёт наружу...

— Бутылку откупори... Господа, не хотите ли?

Мы пятимся. Мне вчера всё-таки удалось что-то перекусить. Смотрю на офицера, — выпучил глаза и жадно рвёт жёлтые, сладкие куски. Когда уж очень ему скверно, — запивает пивом. Около другой, менее решительный. Должно быть, колеблется. То подойдёт к длинному греку, то отойдёт прочь. Наконец, не выдерживает.

— Давай и мне ананас и пива.

— Ананази очень холозь...

— Будет хорошо, когда я с утра вчерашнего голодаю.

— Хорошо? — спрашиваю...

— Кажется, разорвали бы меня...

— Хотите, я вам хлеба достану?

На обоих лицах внезапная нежность ко мне. С отвращением швыряют в угол недогрызенные ананасы, бутылки летят в окно. А грек всё дудит им вслед:

— Холози ананази... Очень холози ананази...

— Ей-Богу, я тебя повешу! — зверем оглядывается на него первый офицер.

В турецкую войну везде можно было напиться чаю, кофе, пообедать, поужинать. Нет маркитанта, — как трава в поле растут предприимчивые болгары и, сидя на корточках, жарят на угляках вертушки посыпанного перцем и луком мяса. Подаёт вам лучинку с этим болгарским шашлыком, и вы сыты.

Теперь совсем не то. Лавки при станциях пусты. Доставки с севера нет. Инкоу (Нью-Чжуан тож) сам торгует и берёт на всё проценты, 300 на 100! Да и то в нормальное время, — а когда пароходов мало, то и все 500!

Редко где остался буфет, но получить оттуда что-нибудь трудно. Ополоумевшая прислуга, обливаясь потом, слоняется, сама не понимая, что кругом творится.

В крохотном стационарном буфете сидит человек пятьдесят-шестьдесят, — все голодные, усталые, все заказывают, бранятся и требуют в одно и то же время. Совершенно одуревший служащий слушает и ничего не слышит, старается что-то сообразить и кончает тем, что сам садится в публику и бормочет нечто несуразное.

Чад, вонь, мухи, в жару — температура хорошей русской бани. Получить что-нибудь здесь очень трудно. Сам видел генералов, терпеливо ожидающих у окошечка, пробитого отсюда в кухню, своей порции котлет, которые в отвратительном масле лениво готовит усталый повар-китаец.

Я также становлюсь в хвост и жду. За окошечком воздуха нет, — стоит что-то чёрное, вроде тьмы египетской. В этом чёрном вертятся мокрые китайцы. Чёрное плотным слоем оседает на ветчину, на куски мяса. Чёрное гудит так, что китаец не слышит вашего заказа. Это мухи!

Сюда метеором врывается иногда — весь зашлёпанный грязью, в рубашке, облипшей его кругом как перчатка, взъерошенный, ви-

димом, умирающий от усталости офицер с разведки и ещё издали угрожающе кричит: «Холодного пива, да скорей!..» Ему некогда, надо сейчас дальше. Из какого-то мрака вылетел на свет и сейчас опять уйдёт в безглазую ночь... Ему ещё надо поспеть на свой бивак. На него сейчас садятся мухи. Но он, не отмахиваясь от них, разнеженный светом и отдыхом, засыпает. Пиво шипит в стакане, котлета, поданная ему, покрывается салом...

— Позвольте узнать, вы сейчас откуда?

Он с усилием подымает отяжелевшие веки, бессмысленно смотрит вокруг и вдруг выпаливает:

— Мы — черниговские.

Пиво давно перестало шипеть, сало котлетки почернело от мух-самоедов, а умирающий от усталости офицер спит и видит сладкие сны... Может быть, мерещится ему вишнёвый садик где-нибудь в Новгород-Северском уезде с красавицей-невестой, или — командующий армией, выстроив полк, вручает ему перед ним Георгиевский крест за головокружительно-смелую разведку...

— Японцев не встретили?

— Каких? — отлипаются склеившиеся веки.

— Как каких!?

Заметив пиво, хлоп его вместе с неосторожными мухами... Котлета туда же.

— Вы ведь на разведку ездили? Позвольте узнать, где они теперь?..

— Разведку? В самом деле...

Проза жизни вступает в свои права. Вишнёвый садик и белый крест уходят в волшебное царство грёзы...

— Эй, Данило!

Казак из-за двери показывается на свет.

— Пей... да идём, пора! От генерала влетит.

Тяжело подымается офицер... Выходит, и скоро оттуда доносится топот коней, исчезающих во мраке.

«Хлебца бы!»

Только что вернулся с позиций замученный, усталый, и — совестно! Направо и налево идут люди, которые больше меня имеют права на отдых. Они замотаны совсем. Эти люди девять дней не знают настоящего покоя. Но тут не одна усталость. Вот измученные и едва держащиеся на ногах останавливаются и жадно смотрят на нас. В вагоне, играющем роль столовой, солдатские щи.

— Что тебе, голубчик?

— Хлебца бы!

Протягиваю ему денег.

Отказывается.

— Покорнейше благодарим. Мне бы хлебца... Вторые сутки не едим.

Мы раздали всё, что у нас было. Солдаты наши — тоже. Через час во всём поезде не было крошки хлеба, а люди всё шли и шли и просили только одного «хлебца», с дальних позиций, куда нельзя было доставить никак продовольственных грузов. И никто, никто не берёт денег. Только и слышишь жалобные, молящие: «Хлебца бы!»

Подъезжает вестовой на другой день.

— Ваше высокоблагородие! Дозвольте хлебца.

— Вот тебе.

— Ещё бы! — нерешительно мнётся он.

— Довольно.

— С меня довольно... А вот капитану, — указывает он на верхового офицера, отвернувшегося от нас.

— Пусть он приедет сам.

— Они не приедут.

— Почему?

— Им совестно.

Ему дают для офицера хлеба и варёного мяса.

Тот издали кланяется, и мы видим внезапно озарившееся радостью лицо.

Немного спустя, приезжает из-за нескольких вёрст от Мищенко его офицер С.

— Ради Бога. Генералу есть нечего. Дайте чего-нибудь.

Наши делятся, чем могут. Полбутылки водки, хлеб, мясо, какие-то консервы.

Тот в восторге. Руки даже дрожат, всего так и обдало румянцем.

— Вот спасибо! Вот радость-то! Настоящий праздник будет. Мы уж давно не видели ничего подобного.

И чуть не танцует в седле. Не отдыхая, со своей драгоценной ношей летит обратно...

Один отсталый офицер поместился у нас.

Приглашают обедать, — что есть.

Благодарит.

— Я уж забыл, как едят, — тихо-тихо говорит.

— Чем же вы живы?

— Чаем...

Болен весь. Дрожит... На чай накинулся, а у самого — молодое, красивое лицо и зубы такие великолепные, — кость, кажется, перегрызёт.

Другой офицер набросился на солдатскую «пробу» с такою жадностью, что у меня чуть слёзы из глаз не брызнули.

— Мы такой роскоши давно не видели!..

Вы видели, как из грязных, вонючих луж с головастиками и всякою ползучей нечистью пьют воду? Приезжайте сюда и посмотрите. Как с отсырелого хлеба зелёную плесень сотрут, да так, чтобы ни кусочка не тронуть, и

едят с аппетитом. Как пожирают мясо, покрывшееся серым налётом, — да ещё Бога благодарят за это. Есть консервы — жестянки распухли, выпуклыми стали. Проткнёшь, — оттуда зловонный газ. Дадут ему выйти, и едят, да ещё похваляют.

Строгий начальник

Боже мой, Боже мой! Там сейчас опять падают под свинцом наши безответные, великие в своём молчаливом мужестве солдаты. Я до сих пор не могу забыть своей последней встречи с одним из таких.

— За что у тебя Георгий?

— Ранен был.

— Раненых много.

— А я в строю остался.

— За это и дали!?

— Так что офицера нашего Соколова — в голову пулей...

Ничего не понимаю.

— Мы вот отступали... Стеной на нас японцы шли... Ну, вот, он, поручик-то, выскочил вперёд. «Ребята, — говорит, — надо за матушку Россию нам поработать, что же её в обиду давать, что ли?..» Мы на «ура» за ним, значит, да так, что и они наутёк. Тут его и вдарило... Лицом он в землю... Лежит. Назад нас отбили... А потом я и вспомнил. Офицер-то справедливый, строгий: у него всякая вина виновата. Только он нас берёт. Чуть что, — в обиду

не давал. Из себя суровый, — только по пустому никогда. «Ты, — говорит, — солдат, — Божий воин, веди себя правильно»... С меня нашивки снял. Я унтер-офицером был, — ну, точно, вот вышил. «Я, — говорит, — тебя для примеру всем». И разжаловал. Ну, вспомнил я всё это и говорю Свербееву, — бодрый такой у нас солдатик: «Пойдём поручика искать. Авось, жив. Что-то мне, как мы уходили, показалось, будто он рукой этак... Как дети ручкой делают... Так что — всю дорогу у меня сердце жаловалось. А что, ежели ещё он дышит! Нельзя его там оставить». Свербеев сейчас взял ружьё, — мы и пошли. Часа три шарили... Увидим японца, — спрячемся, уйдёт японец, — мы опять... Смеркаться стало. Лежат наши. Господи Боже, сколько их! Мы всех, кто лицом в землю, подымали. Не видать в темноте стало, офицер или солдат... Вдруг слышу я неподалёку: «Братцы!» — точно вздох. Мы сейчас туда. Лежит он. Мы к нему сейчас же. «Ваше благородие, дозвоьте вас унести»... — «Идите, — говорит, — домой. Со мною и вы пропадёте». Ну, мы видим, что человек не в себе. Подняли его на шинель и понесли. Бе-

режно. Чтоб не качался. Что же бы вы думали? — рана-то хоть в голову только себя оправдала. Выздоровел ведь.

— И такой же строгий остался?

— Нет, куда... Обмяк сердяга...

— За это тебе и Георгия дали?

— Сам командующий надел. Вызвал перед фронтом...

— Да ты что это на левую ногу прихрамываешь?

— Точно так...

— Что точно так?

— А вдарило меня сейчас... Только в мясо... Кости не тронуло. Кость у меня крепкая. Её не прошибёшь. Так что и на перевязочный — стыдно. Поручик приказал идти. Я бы сам не пошёл. Он мне три раза. «Сейчас, — говорит, — если ты не пойдёшь, — я тебя»... Ну, вижу в сурьёзном духе человек. Я и пошёл.

И ведь такому солдату — имя легион.

Я и по имени его не называю, потому что вместе с ним пришлось бы упомянуть сотни и тысячи ему подобных.

И ведь маленький, чахленький...

Смотришь и думаешь: «Откуда у него дух

такой, что на десятерых гигантов хватить?»»

Человек человеку брат

Налево стреляют. Изредка доносятся глухие удары орудий. Ухо притупилось. В ущельях теперь умирают и убивают.

Ахнет вдали орудие, и опять молчание. В золотистом свете тонет даль. Вокруг — пустыня, охваченная лиловыми островерхими горами. В ущелье нудится что-то живое. Угадывается движение. Там, в тишине зловещей, тяжёлой, нет-нет да и заговорят ружейные дула. Вспыхнет, разгорится перестрелка, и опять всё точно притаится...

Дорога вьётся по этому ущелью... Тут философ-китаец поставил камень с надписью: «Смертный, подумай о последнем часе!» Напоминание как раз во время и к месту.

Тень стоит в ущелье, точно её бросили сюда чьи-то громадный чёрные крылья. Вверху — выросла удивительно красивая кумирня, и старый-старый бонза со своей высоты спокойно смотрит на нас, идущих куда-то, неведомо зачем, — когда он понимает только одну неизбежную смерть. Солнце и его, и его кумирню ярко освещает на высоте.

К старику подошёл другой. Они долго глядят нам вслед и покачивают головами: на свете много неба, земли, воды, воздуха. Цветы маньчжурской весны благоуханны, пористые розовые ветви тamarисков приветливо колыхнутся навстречу. Дали тонут в ярком блеске, нивы зеленеют густо и привольно. А человек среди всей это прелести ничего лучшего не нашёл, как посылать в другого такого же «железную смерть», бить его остриями пики, холодной сталью шашек, сабель... Точно ему кажется страшно долгою отсрочка, данная неизбежною смертью.

Я оглядываюсь на стариков-бонз, уж заворачивая в новое колено синего ущелья. Они всё также покачивают головами, а на узорчатых причудливых кровлях кумирни всё ярче и ярче играют огни опускающегося солнца...

— Это ихние монахи будут? — спрашивает меня солдат.

— Да.

— Так что очень хороший народ.

— А ты их знаешь?

— В прошлую китайскую войну подобрали меня раненого. Дай им Бог здоровья. По-свое-

му пользовали. На рану жёваную траву клали, — так что совсем не жгло. И пить давали тоже травку. Кормили рисом с курами. А как я выздоровел, вывели меня на дорогу к нашим, и старый из них дал мне записку и к генералу проводил.

— Что же было в записке-то?

— Так что потом мой офицер нам рассказал. По-ихнему написано было: «Человек человеку брат».

— Что же, генерал благодарил ихнего монаха?

— Пятьдесят рублей, сказывали, давал ему, только монах из гордости не взял.

Я вспомнил изречение на одной фанзе в маленькой китайской деревне: «Сокровищ целого мира мало, чтобы вознаградить за одно истинно доброе дело».

— Так что чаем его поил генерал и долго с ним разговаривал... Я его потом провожал, старика, чтобы кто из наших не обидел. Тоже есть разные, и не со зла, а так, — по глупости...

Жара

Какой ужас эта жара! Я был летом в Марокко, в июле и августе странствовал по Закавказью и Персии, проводил знойное лето в Андалузии, но не испытывал ничего подобного.

Тут и солнце, и небо кажутся ужаснейшими врагами. Грозно блещет солнце как символ непобедимого гнева; безжалостно обнимает вас горячею синевою небо, давая вам знать, — от меня тебе некуда уйти, негде спрятаться.

И внизу всё — грозно, распалено, сухо как змеиная кожа. Закружит голову, — обопрёшься рукою о скалу, — обожжёшь ладонь; сядешь на серый выступ чёрного камня, — точно на раскалённую кухонную плиту; хочешь уехать, — седло за час успело разжечься до нельзя.

Пьёшь огонь в воздухе, которым дышишь, глаза слепит беспощадный блеск, в ушах звенит, — сердце расширяется до дурноты... Чувствуешь, ещё минута, — и рухнешь, побеждённый этим маньчжурским зноем.

И в таком-то зное, под бесчисленными огнями солнца, должны были идти солдаты, неся на себе по два пуда амуниции! И посмотрите на них, — ведь они до боя уже поражены этим беспощадным небом, убиты зноем и замучены жаждою.

Всё слабеет, всё обливается потом. Он проходит сквозь рубашку, сюртук. Мокры вы, ваша лошадь, и от этой влаги нет облегчения, как нет его в русской бане на полке, в раскалённом её пару. Но на полке вы просидите несколько минут, — а тут часы за часами, с утра до вечера, когда, наконец, повеет на вас освежающей прохладой.

С боевых позиций никуда не уйти; рад бы дорваться до колодца, да нельзя встать, выдать зоркому врагу и себя, и товарищей. Невольно выдашь тайну земляного окопа!

Мозг точно топится в черепе. Что-то яркое, меняющееся, слепящее мерещится в напоённой светом дали. Нудятся какие-то голоса, кто-то зовёт вас из блистающей огненной бездны...

Посмотрите в такой час на солдат, идущих куда-нибудь походом. Нет лица без муки, нет

мысли, не обожжённой этим солнцем. Затылки — красны, точно сквозь проступает кровь.

Посмотрите-ка, что делается вон в той жиденькой рощице, где тень похожа на лохмотья, прорванные солнцем, выжженные им. Там, на зелёном налёте скудной травы, какие-то тела. Подойдите, — это поражённые солнечным ударом...

Ливень

Это уже не дождь, а именно разверзаются хляби небесные. По обеим сторонам железной дороги образовались у дамб настоящие реки, в которых тонут неосторожные.

Поля залиты грозным разливом потоков, смывающих в низменности всю нечисть с гор.

Лужи стоят повсюду, и какие! Солдаты, чтобы пройти их, раздеваются. Вода им доходить чуть не до половины груди. Ветер гонит по поверхности этих луж заметную издали зыбь как на настоящих озёрах.

Вся Маньчжурия в июле такова, и деваться на ней некуда. Спрятаться от влаги негде. Она всё проникает насквозь, и непромокаемые плащи, прежде всего, оказываются никчёмными здесь. Повозки окружены кольцами воды, палатки торчат из неё же. Солдаты спят и живут в воде, в грязи и вязкой топи.

Как можно даже в смертной истоме сомкнуть глаза в этой вязкой и противной болотине, — знает только всетерпящий, самоотверженный солдатик. Днём он совершал чу-

деса храбрости, кидался в сильный артиллерийский огонь японских позиций, встречая стрельбу пачками, не ложился, а допускал только перебежку вперёд, отступал под убийственными шрапнелями, а вечером улётся и спит. И сто?ит только утром пригреть солнцу, улыбнуться голубому небу, высохнуть намокшей шинели, солдат наш весел, и поёт себе, и смотрит бодро, радуясь как празднику ясному дню. Удивительный солдат!

Вот что случилось в горах. Потоки неслись бешено в глубоких лощинах, истребляя всё, что осмеливалось стоять перед ними. Людей, лошадей, повозки увлекала сумасшедшая быстрина во внезапные бездны, где вчера ещё ласкали глаз зеленеющие котловины, с мирными фанзами и цветущими садиками.

Стоял часовой у денежного ящика. Ящик унесло, — он сбросил с себя всё, взял свою винтовку и бросился в пучину. Ему кричат офицеры:

— Куда ты, вернись, пропадёшь!

— Никак нельзя, я поставлен при ящике.

И, барахтаясь, плыл за ним, глотая воду, то утопая, то вскидываясь, разбиваемый о ска-

лы, заносимый илом, отхватываемый в стороны, но ни на минуту не теряющий из виду «ящика, при котором он приставлен». Когда его потом спросили, он ответил:

— Так что там наши ротные деньги!

И ящик, и его прибило к руинам моста, простоявшего до этих ливней двести лет.

А другому стало жаль ротного козла. Он кинулся за ним, кувыркался в стремнине потока версты две и всё-таки спас бедное животное.

— Чего ты это старался?

— Помилуйте, наш, ротный... И добёр уж очень. Игратья любить.

А третий: офицер верхом тонул, лошадь растерялась, потому что вместо того, чтобы ей предоставить самой спасти его, неопытный ездок вздумал управлять ею. Солдат в самой быстрине нырнул под брюхо коню и сверхчеловеческими усилиями на мгновение приподнял её. Она очнулась, выбилась и спасла и себя, и всадника.

— Ну, и молодец же ты! — хвалили солдата.

— Так что уж больно офицер ласковый.

Никогда мы от него дурного слова не слышали.

Я убеждён, что всепрощающий и терпеливый, он также спас бы и «недоброго». Там Бог разберёт, кто прав, кто виноват...

Ах, что это были за наводнения... В самом деле, с неделю стояли такие ливни, изуродовали и исковеркали всё на маньчжурских дорогах, горах, в ущельях и потом вдруг оборвались. Мы считали, что сезон дождей, о которых рассказывают ужасы, — уже начался; оказывается, — нет, надо погодить. Это ещё листочки, — цветы и ягоды потом. Чем же ещё более грозным он может испугать нас? Ведь не снесёт же горы с их каменными островами, не зальёт же морем Ляодунскую равнину, не сползут же утёсы и не поплывут по океану. Всё остальное же было, всё доступное воображению испытали...

Вон бурые потоки смыли дамбу из-под шпал. Шпалы висят на рельсах. Бешено стремится под ними внезапно образовавшийся поток, крутит, рвёт, беснуется... Железнодорожные солдаты со своими офицерами смело бросаются в эту пучину. Заготовили мешки с

землѣй, рядовые разделились догола и, стараясь только, чтобы их не сбило, — устраивают по горло в дикой и шумной стихии новую дамбу. Их сносит прочь, они упорно возвращаются к тому же месту. Бьёт о бока оставшейся насыпи, крутит в пене, выкидывает в сторону, — всё равно. Приказ отдан, — нужно его исполнить.

Слепая, чёрная ночь кругом... Кипит бесстрашный труд человека, а утром по готовой насыпи идёт поезд с хлебом для голодных солдат.

На страх богам

МЫ вошли в большую, хотя и небогатую фанзу.

На дверях было неизбежное изображение двух доисторических генералов, которых какой-то богдыхан произвёл в добрые гении. Страшные растопыри с бородами веером и грозно нахмуренные — на страх врагам!

Видите ли, много тысяч лет тому назад злые «боги» мешали богдыхану спать. Шумели, стучали у его постели... Богдыхан жаловался своим генералам, и двое из них вызвались стать на страже у его кровати и прогнать злых богов. Действительно, не успели злые небожители явиться у ложа повелителя, как генералы, растопырив ноги и руки, налетели на них «тиграми» и, махая во все стороны мечами, так напугали богов, что те бежали прочь, рассыпая огненный след по всему дворцу.

На другой же день генералы были произведены в «добрые гении», и каждому доброму китаюцу вменено в обязанность изображать их на своих дверях.

Боги, видите ли, здесь картину принимают за действительность.

Жизнь и смерть

Жалко этой мирной сельской жизни. За что на неё, кроткую, красивую, нежную, обрушилась эта истребительная война?

Там, где слышались тихая китайская песня и свирель (кстати, китайская песня изумительно похожа на русскую), теперь грохочут орудия, трещат японские пачки и русские залпы. Сотни и эскадроны топчут зелёную прелесть весенних полей; в мирных фанзах за решётками больших окон, заклеенных бумагой, в садах, благоухающих розами, распорядается чужак. И бедный, так трогательно любящий свой дом и свою семью, манза бежит на вершины аметистовых сопок. Куда же ему деваться? Как поднялся гаолян! Сегодня мы отправились на наши передовые позиции. Смотрим кругом и себе не верим. Ведь это именно — на глазах растёт.

Давно ли слабые поросли едва-едва отделялись от жёлтой земли? Теперь весь край сделался совсем зелёным. Всё на нём зеленеет, куда только ни уходит глаз. Зеленеют нивы, огороды, сады, поля, луга, откосы гор, верши-

ны, ещё вчера казавшиеся голыми, ущелья; кучи щебня покрывает пахучая дикая герань; по высоким вышкам с зелёными шапками омелы ползёт цепкая чужая змея, раскидывая кругом зелёные ветви, которые скоро покроются цветами. Зелень ползёт по жёлтой глине тихих фанз, по серому камню кумирен, по причудливым утёсам, закидываясь за их гребни, и треплется на них.

А человек здесь — враг, и часто залпы направляются в этот мирный убор маньчжурской весны.

Какие тут деревни! В них стоят китайские монастыри и богатые фанзы, давно заколоченные владельцами. Зубчатые серые стены, из-за них оригинальные черепичные кровли, изогнувшиеся как спина дракона. Часто на таком дворе десять-пятнадцать маленьких домов, сгибающихся под тяжестью своих массивных кровель. И на всём этом печать удивительного спокойствия, давно отстоявшейся жизни.

Вверху война, истребления, а внизу целый океан непонятого народа.

Жалко всей этой примиряющей красоты,

задумчивой и ласковой!..

Я говорил с Отзу, — местным философом, которого так ценят китайцы.

«Всё пройдёт как облака по летнему небу, а Китай останется как это небо. И ещё тысячи лет простоит непонятный и чужой вам, как и вы непонятны и чужды Китаю. Наши силы — в спокойствии, в терпении. Ваши волнения нам чужды. Не всё ли равно, — ведь смерть сторожит каждого. Есть маленький клочок жизни, — стоит ли из-за него, с могилою позади и могилою впереди, мучиться, добиваться чего-то, тревожиться... Я когда вынесу своё кресло в сад и сквозь мои розы смотрю, как заходит в море солнце, — мне ничего ни надо. Будь я богдыханом, — не остановит мне ночи, что следует за этим солнцем».

1907

Примечания

Голубчик

[^^^]